

МИЛЫЙ ДРУГ



РОМАН

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

I

Жорж Дюруа получил у кассирши ресторана сдачу с пяти франков и направился к выходу.

Статный от природы и к тому же сохранивший унтер-офицерскую выправку, он приосанился и, привычным молодцеватым жестом закрутив усы, охватил запоздавших посетителей тем зорким взглядом, каким красавец-мужчина, точно ястреб, высматривает добычу.

Женщины подняли на него глаза; это были три молоденькие работницы, учительница музыки, средних лет, небрежно причесанная, неряшливо одетая, в запыленной шляпке, в криво сидевшем на ней платье, и две мещанки с мужьями — завсегдатаи этой дешевой харчевни.

Он постоял с минуту на тротуаре, размышляя о том, как быть дальше. Сегодня двадцать восьмое июня; до первого числа у него остается всего-навсего три франка сорок сантимов. Это значит: два обеда, но никаких завтраков, или два завтрака, но никаких обедов, — на выбор. Так как завтрак стоит франк и десять сантимов, а обед — полтора франка, то, отказавшись от обедов, он выгадает франк двадцать сантимов; стало быть, рассчитал он, можно будет еще два раза поужинать хлебом с колбасой и выпить две кружки пива на бульваре. А это его самый большой расход и самое большое удовольствие, которое он позволяет себе по вечерам. Он двинулся по улице Нотр-Дам-де-Лорет.

Шагал он так же, как в те времена, когда на нем был гусарский мундир: выпятив грудь и слегка расставляя ноги, будто только что слез с коня. Он бесцеремонно протискивался в толпе, заполнившей улицу: задевал прохожих плечом, толкался, никому не уступал дорогу. Сдвинув поношенный цилиндр чуть-чуть набок и постукивая каблуками, он шел с высокомерным видом бравого солдата, очутившегося среди штатских, который презирает решительно все: и людей, и дома — весь город.

Даже в этом дешевом, купленном за шестьдесят франков костюме ему удавалось сохранять известную элегантность — пошловатую, бьющую в глаза, но все же элегантность. Высокий рост, хорошая фигура, вьющиеся русые с рыжеватым отливом волосы, расчесанные на прямой пробор, закрученные усы, словно пенившиеся на губе, светло-голубые глаза с буравчиками зрачков — все в нем напоминало соблазителя из бульварного романа.

Был один из тех летних вечеров, когда в Париже не хватает воздуха. Город, жаркий, как париленья, казалось, задышался и истекал потом. Гранитные пасти сточных труб распространяли зловоние; из подвальных этажей, из низких кухонных окон несли отвратительный запах помоев и прокисшего соуса.

Швейцары, сняв пиджаки, верхом на соломенных стульях покуривали у ворот; мимо них, со шляпами в руках, еле передвигая ноги, брели прохожие.

Дойдя до бульвара, Жорж Дюруа снова остановился в нерешительности. Его тянуло на Елисейские Поля, в Булонский лес — подышать среди деревьев свежим воздухом. Но он испытывал и другое желание — желание встречи с женщиной.

Как она произойдет? Этого он не знал, но он ждал ее вот уже три месяца, каждый день, каждый вечер. Впрочем, благодаря счастливой наружности и галантному обхождению ему то там, то здесь случалось урвать немножко любви, но он надеялся на нечто большее и лучшее.

В карманах у него пусто, а кровь между тем играла, и он расплялся от каждого прикосновения уличных женщин, шептавших на углах: «Пойдем со мной, красавчик!» — но не смел за ними идти, так как заплатить ему было нечем; притом он все ждал чего-то иного, иных, менее доступных поцелуев.

И все же он любил посещать места, где кишат девицы легкого поведения, — их балы, рестораны, улицы; любил толкаться среди них, заговаривать с ними, обращаться к ним на «ты», дышать резким запахом их духов, ощущать их близость. Как-никак, это тоже женщины, и женщины, созданные для любви. Он отнюдь не питал к ним отвращения, свойственного семьянину.

Он пошел по направлению к церкви Мадлен и растворился в изнемогавшем от жары людском потоке. Большие, захватившие часть тротуара, переполненные кафе выставляли своих посетителей на показ, заливая их ослепительно-ярким светом витрин. Перед посетителями на четырехугольных и круглых столиках стояли бокалы с напитками — красными, желтыми, зелеными, коричневыми,

всевозможных оттенков, а в графинах сверкали огромные прозрачные цилиндрические куски льда, охлаждавшие прекрасную чистую воду.

Дюруа замедлил шаг: у него пересохло в горле.

Жгучая жажда, жажда, какую испытывают лишь в душный летний вечер, томила его, и он вызывал в себе восхитительное ощущение холодного пива, льющегося в гортань. Но если выпить сегодня хотя бы две кружки, то прощай скудный завтрашний ужин, а он слишком хорошо знал часы голода, неизбежно связанные с концом месяца.

«Потерплю до десяти, а там выпью кружку в Американском кафе, — решил он. — А, черт, как, однако ж, хочется пить!» Он смотрел на всех этих людей, сидевших за столиками и утолявших жажду, на всех этих людей, которые могли пить сколько угодно. Он проходил мимо кафе, окидывая посетителей насмешливым и дерзким взглядом и определяя на глаз — по выражению лица, по одежде, — сколько у каждого из них должно быть с собой денег. И в нем поднималась злоба на этих расположившихся со всеми удобствами господ. Поройся у них в карманах — найдешь и золотые, и серебряные, и медные монеты. В среднем у каждого должно быть не меньше двух луидоров; в любом кафе сто человек во всяком случае наберется; два луидора помножить на сто — это четыре тысячи франков! «Сволочь!» — проворчал он, все так же изящно покачивая станом. Попадись бывшему унтер-офицеру кто-нибудь из них ночью в темном переулке, — честное слово, он без зазрения совести свернул бы ему шею, как это он во время маневров проделывал с деревенскими курами.

Дюруа невольно пришли на память два года, которые он провел в Африке, в захолустных крепостях на юге Алжира, где ему часто удавалось обирать до нитки арабов. Веселая и жестокая улыбка скользнула по его губам при воспоминании об одной проделке: трем арабам из племени Улед-Алан она стоила жизни, зато он и его товарищи раздобыли двадцать кур, двух баранов, золото, и при всем том целых полгода им было над чем смеяться.

Виновных не нашли, да их и не так уж усердно искали, — ведь араба все еще принято считать чем-то вроде законной добычи солдата.

В Париже — не то. Здесь уж не пограбишь в свое удовольствие — с саблей на боку и с револьвером в руке, на свободе, вдали от гражданского правосудия. Дюруа почувствовал, как все инстинкты унтер-офицера, развратившегося в покоренной стране, разом

заговорили в нем. Право, это были счастливые годы. Как жаль, что он не остался в пустыне! Но он полагал, что здесь ему будет лучше. А вышло... Вышло черт знает что!

Точно желая убедиться, как сухо у него во рту, он, слегка прищелкнув, провел языком по нёбу.

Толпа скользила вокруг него, истомленная, вялая, а он, задевая встречных плечом и насвистывая веселые песенки, думал все о том же: «Скоты! И ведь у каждого из этих болванов водятся деньги!» Мужчины, которых он толкал, огрызались, женщины бросали ему вслед: «Нахал!»

Он прошел мимо Водевиля и остановился против Американского кафе, подумывая, не выпить ли ему пива, — до того мучила его жажда. Но прежде чем на это решиться, он взглянул на уличные часы с освещенным циферблатом. Было четверть десятого. Он знал себя: как только перед ним поставят кружку с пивом, он мигом осушит ее до дна. А что он будет делать до одиннадцати?

«Пройдусь до церкви Мадлен, — сказал он себе, — и не спеша двинусь обратно».

На углу площади Оперы он столкнулся с толстым молодым человеком, которого он где-то как будто видел.

Он пошел за ним, роясь в своих воспоминаниях и повторяя вполголоса:

— Черт возьми, где же я встречался с этим субъектом?

Тщетно напрягал он мысль, как вдруг память его сотворила чудо, и этот же самый человек предстал перед ним менее толстым, более юным, одетым в гусарский мундир.

— Да ведь это Форестье! — вскрикнул Дюруа и, догнав его, хлопнул по плечу.

Тот обернулся, посмотрел на него и спросил:

— Что вам угодно, сударь?

Дюруа засмеялся:

— Не узнаешь?

— Нет.

— Жорж Дюруа, из шестого гусарского.

Форестье протянул ему обе руки:

— А, дружище! Как поживаешь?

— Превосходно, а ты?

— Я, брат, так себе. Вообрази, грудь у меня стала точно из папье-маше, и кашляю я шесть месяцев в году, — все это последствия бронхита, который я схватил четыре года назад в Буживале, как только вернулся во Францию.

— Вот оно что! А вид у тебя здоровый.

Форестье, взяв старого товарища под руку, заговорил о своей болезни, о диагнозах и советах врачей, о том, как трудно ему, такому занятому, следовать их указаниям. Ему предписано провести зиму на юге, но разве это возможно? Он женат, он журналист, он занимает прекрасное положение.

— Я заведую отделом политики во «Французской жизни», помещаю в «Спасении» отчеты о заседаниях сената и время от времени даю литературную хронику в «Планету». Как видишь, я стал на ноги.

Дюруа с удивлением смотрел на него. Форестье сильно изменился, стал вполне зрелым человеком. Походка, манера держаться, костюм, брюшко — все обличало в нем преуспевающего, самоуверенного господина, любящего плотно покушать. А прежде это был худой, тонкий и стройный юноша, ветрогон, забияка, непоседа, горлан. За три года Париж сделал из него совсем другого человека — степенного, тучного, с сединой на висках, хотя ему было не больше двадцати семи лет.

— Ты куда направляешься? — спросил Форестье.

— Никуда, — ответил Дюруа, — просто гуляю перед сном.

— Что ж, может, проводишь меня в редакцию «Французской жизни»? Мне только просмотреть корректуру, а потом мы где-нибудь выпьем по кружке пива.

— Идет.

И с той непринужденностью, которая так легко дается бывшим одноклассникам и однополчанам, они пошли под руку.

— Что подельываешь? — спросил Форестье.

Дюруа пожал плечами:

— По правде сказать, околеваю с голоду. Когда кончился срок моей службы, я приехал сюда, чтобы... чтобы сделать карьеру, — вернее, мне просто захотелось пожить в Париже. Но вот уж полгода, как я служу в управлении Северной железной дороги и получаю всего-навсего полторы тысячи франков в год.

— Не густо, черт возьми, — промычал Форестье.

— Еще бы! Но скажи на милость, как мне выбиться? Я одинок, никого не знаю, обратиться не к кому. Дело не в нежелании, а в отсутствии возможностей.

Приятель, смерив его с ног до головы оценивающим взглядом опытного человека, наставительно заговорил:

— Видишь ли, дитя мое, здесь все зависит от апломба. Человеку мало-мальски сообразительному легче стать министром, чем

столоначальником. Надо уметь производить впечатление, а вовсе не просить. Но неужели же, черт возьми, тебе не подвернулось ничего более подходящего?

— Я обил все пороги, но без толку, — возразил Дюруа. — Впрочем, сейчас у меня есть кое-что на примете: мне предлагают место берейтора в манеже Пелерена. Там я, на худой конец, заработаю три тысячи франков.

— Не делай этой глупости, — прервал его Форестье, — даже если тебе посулят десять тысяч франков. Ты сразу отрежешь себе все пути. У себя в канцелярии ты, по крайней мере, не на виду, тебя никто не знает, и, при известной настойчивости, со временем ты выберешься оттуда и сделаешь карьеру. Но берейтор — это конец. Это все равно что поступить метрдотелем в ресторан, где обедает «весь Париж». Раз ты давал уроки верховой езды светским людям или их сыновьям, то они уже не могут смотреть на тебя, как на ровню.

Он замолчал и, подумав несколько секунд, спросил:

— У тебя есть диплом бакалавра?

— Нет, я дважды срезался.

— Это не беда при том условии, если ты все-таки окончил среднее учебное заведение. Когда при тебе говорят о Цицероне или о Тиберии, ты примерно представляешь себе, о ком идет речь?

— Да, примерно.

— Ну и довольно, больше о них никто ничего не знает, кроме десятка-другого остолопов, которые, кстати сказать, умнее от этого не станут. Сойти за человека сведущего совсем нетрудно, поверь. Все дело в том, чтобы тебя не уличили в явном невежестве. Надо лавировать, избегать затруднительных положений, обходить препятствия и при помощи энциклопедического словаря сажать в калошу других. Все люди — круглые невежды и глупы, как бревна.

Форестье рассуждал с беззлобной иронией человека, знающего жизнь, и улыбался, глядя на встречных. Но вдруг закашлялся, остановился и, когда приступ прошел, упавшим голосом проговорил:

— Вот привязался проклятый бронхит! А ведь лето в разгаре. Нет уж, зимой я непременно поеду лечиться в Ментону. Какого черта, в самом деле, здоровье дороже всего!

Они остановились на бульваре Пуасоньер, возле большой стеклянной двери, на внутренней стороне которой был наклеен развернутый номер газеты. Какие-то трое стояли и читали ее.

Над дверью, точно воззвание, приковывала к себе взгляд ослепительная надпись, выведенная огромными огненными буквами,

составленными из газовых рожков: «Французская жизнь». В полосу яркого света, падавшего от других пламенеющих слов, внезапно возникали фигуры прохожих, явственно различимые, четкие, как днем, и тотчас же снова тонули во мраке.

Форестье толкнул дверь.

— Сюда, — сказал он.

Дюруа вошел, поднялся по роскошной и грязной лестнице, которую хорошо было видно с улицы, и, пройдя через переднюю, где двое рассыльных поклонились его приятелю, очутился в пыльной и обшарпанной приемной, — стены ее были обиты выцветшим желтовато-зеленым трипом, усеянным пятнами, а кое-где словно изъеденным мышами.

— Присядь, — сказал Форестье, — я вернусь через пять минут.

И он скрылся за одной из трех дверей, выходящих в приемную.

Станный, особенный, непередаваемый запах, запах редакции, стоял здесь. Дюруа, скорей изумленный, чем оробевший, не шевелился. Время от времени какие-то люди пробегали мимо него из одной двери в другую — так быстро, что он не успевал разглядеть их.

С деловым видом сновали совсем еще зеленые юнцы, держа в руке лист бумаги, колыхавшийся на ветру, который они поднимали своей беготней. Наборщики, у которых из-под халата, запачканного типографской краской, виднелись суконные брюки, точь-в-точь такие же, как у светских людей, и чистый белый воротничок, бережно несли кипы оттисков — свеженабранные, еще сырые гранки. Порой входил щуплый человечек, одетый чересчур франтовски, в сюртуке, чересчур узком в талии, в брюках, чересчур обтягивавших ногу, в ботинках с чересчур узким носком, — какой-нибудь репортер, доставлявший вечернюю светскую хронику.

Приходили и другие люди, надутые, важные, все в одинаковых цилиндрах с плоскими полями, — видимо, они считали, что один этот фасон шляпы уже отличает их от простых смертных.

Наконец появился Форестье под руку с самодовольным и развязным господином средних лет, в черном фраке и белом галстуке, очень смуглым, высоким, худым, с торчащими вверх кончиками усов.

— Всего наилучшего, уважаемый мэтр, — сказал Форестье.

Господин пожал ему руку.

— До свиданья, дорогой мой.

Он сунул тросточку под мышку и, посвистывая, стал спускаться по лестнице.

— Кто это? — спросил Дюруа.

— Жак Риваль, — знаешь, этот известный фельетонист и дуэлист? Он просматривал корректуру. Гарен, Монтель и он — лучшие парижские журналисты: самые остроумные и злободневные фельетоны принадлежат им. Риваль дает нам два фельетона в неделю и получает тридцать тысяч франков в год.

Они вышли. Навстречу им, отдуваясь, поднимался по лестнице небольшого роста человек, грузный, лохматый и неопрятный.

Форестье низко поклонился ему.

— Норбер де Варен, поэт, автор «Угасших светил», тоже в большой цене, — пояснил он. — Ему платят триста франков за рассказ, а в самом длинном его рассказе не будет и двухсот строк. Слушай, зайдем в Неаполитанское кафе, я умираю от жажды.

Как только они заняли места за столиком, Форестье крикнул: «Две кружки пива!» — и залпом осушил свою; Дюруа между тем отхлебывал понемножку, наслаждаясь, смакуя, словно это был редкостный, драгоценный напиток.

Его приятель молчал и, казалось, думал о чем-то, потом неожиданно спросил:

— Почему бы тебе не заняться журналистикой?

Дюруа бросил на него недоумевающий взгляд.

— Но... дело в том, что... я никогда ничего не писал.

— Ну так попробуй, начни! Ты мог бы мне пригодиться: добывал бы для меня информацию, интервьюировал должностных лиц, ходил бы в присутственные места. На первых порах будешь получать двести пятьдесят франков, не считая разъездных. Хочешь, я поговорю с издателем?

— Конечно хочу.

— Тогда вот что: приходи ко мне завтра обедать. Соберется у меня человек пять-шесть, не больше: мой патрон — господин Вальтер с супругой, Жак Риваль и Норбер де Варен, которых ты только что видел, и приятельница моей жены. Придешь?

Дюруа колебался, весь красный, смущенный.

— Дело в том, что... у меня нет подходящего костюма, — запинаясь, проговорил он.

Форестье опешил.

— У тебя нет фрака? Вот тебе раз! А без этого, брат, не обойдешься. В Париже, к твоему сведению, лучше не иметь кровати, чем фрака.

Он порылся в жилетном кармане, вынул кучку золотых и, взяв два луидора, положил их перед своим старым товарищем.

— Отдашь, когда сможешь, — сказал он дружеским, естественным тоном. — Возьми костюм напрокат или дай задаток и купи в рассрочку, это уж дело твое, но только непременно приходи ко мне обедать: завтра, в половине восьмого, улица Фонтэн, семнадцать.

Дюруа был тронут.

— Ты так любезен! — пряча деньги, пробормотал он. — Большое тебе спасибо! Можешь быть уверен, что я не забуду...

— Довольно, довольно! — прервал Форестье. — Давай еще по кружке, а? Гарсон, две кружки! — крикнул он.

Когда пиво было выпито, журналист предложил:

— Ну как, погуляем еще часок?

— Конечно погуляем.

И они пошли в сторону Мадлен.

— Что бы нам такое придумать? — сказал Форестье. — Уверяют, будто в Париже фланер всегда найдет, чем себя занять, но это не так. Иной раз вечером и рад бы куда-нибудь пойти, да не знаешь куда. В Булонском лесу приятно кататься с женщиной, а женщины не всегда под рукой. Кафе-шантаны способны развлечь моего аптекаря и его супругу, но не меня. Что же остается? Ничего. В Париже надо бы устроить летний сад, вроде парка Монсо, который был бы открыт всю ночь и где можно было бы выпить под деревьями чего-нибудь прохладительного и послушать хорошую музыку. Это должно быть не увеселительное место, а просто место для гуляния. Плату за вход я бы назначил высокую, чтобы привлечь красивых женщин. Хочешь — гуляй по дорожкам, усыпанным песком, освещенным электрическими фонарями, а то сиди и слушай музыку, издали или вблизи. Нечто подобное было когда-то у Мюзара, но только с кабацким душком: слишком много танцевальной музыки, мало простора, мало тени, мало древесной сени. Необходим очень красивый, очень большой сад. Это было бы чудесно. Итак, куда бы ты хотел?

Дюруа не знал, что ответить. Наконец он надумал.

— Мне еще ни разу не пришлось побывать в Фоли-Бержер. Я охотно пошел бы туда.

— Что, в Фоли-Бержер? — воскликнул его спутник. — Да мы там изжаримся, как на сковородке. Впрочем, как хочешь, — это во всяком случае забавно.

И они повернули обратно, с тем чтобы выйти на улицу Фобур-Монмартр.

Блиставший огнями фасад увеселительного заведения бросал снопы света на четыре прилегающие к нему улицы. Вереница фижров дождалась разезда.

Форестье направился прямо к входной двери, но Дюруа остановил его:

— Мы забыли купить билеты.

— Со мной не платят, — с важным видом проговорил Форестье.

Три контролера поклонились ему. С тем из них, который стоял в середине, журналист поздоровался за руку.

— Есть хорошая ложа? — спросил он.

— Конечно есть, господин Форестье.

Форестье взял протянутый ему билетик, толкнул обитую кожей дверь, и приятели очутились в зале.

Табачный дым тончайшей пеленою мглы застилал сцену и противоположную сторону зала. Поднимаясь чуть заметными белесоватыми струйками, этот легкий туман, порожденный бесчисленным множеством папирос и сигар, постепенно сгущался вверх, образуя под куполом, вокруг люстры и над битком набитым вторым ярусом подобие неба, подернутого облаками.

В просторном коридоре, вливавшемся в полукруглый проход, что огибал ряды и ложи партера и где разряженные кокотки шныряли в темной толпе мужчин, перед одной из трех стоек, за которыми восседали три накрашенные и потрепанные продавщицы любви и напитков, группа женщин подстерегала добычу.

В высоких зеркалах отражались спины продавщиц и лица входящих зрителей.

Форестье, расталкивая толпу, быстро продвигался вперед с видом человека, который имеет на это право.

Он подошел к капельдинерше.

— Где семнадцатая ложа?

— Здесь, сударь.

И она заперла обоих в деревянном открытом сверху и обитом красной материей ящике, внутри которого помещалось четыре красных стула, поставленных так близко один к другому, что между ними почти невозможно было пролезть. Друзья уселись. Справа и слева от них, изгибаясь подковой, тянулся до самой сцены длинный ряд точно таких же клеток, где тоже сидели люди, которые были видны только до пояса.

На сцене трое молодых людей в трико — высокий, среднего роста и низенький — по очереди проделывали на трапеции акробатические номера.

Сперва быстрыми мелкими шажками, улыбаясь и посылая публике воздушные поцелуи, выходил вперед высокий.

Под трико обрисовывались мускулы его рук и ног. Чтобы не слишком заметен был его толстый живот, он выпячивал грудь. Ровный пробор как раз посередине головы придавал ему сходство с парикмахером. Грациозным прыжком он взлетал на трапецию и, повиснув на руках, вертелся колесом. А то вдруг, выпрямившись и вытянув руки, принимал горизонтальное положение и, держась за перекладину пальцами, в которых была теперь сосредоточена вся его сила, на несколько секунд застывал в воздухе.

Затем спрыгивал на пол, снова улыбался, кланялся рукоплескавшему партеру и, играя упругими икрами, отходил к кулисам.

За ним второй, поменьше ростом, но зато более коренастый, проделывал те же номера и, наконец, третий — и все это при возрастающем одобрении публики.

Но Дюруа отнюдь не был увлечен зрелищем; повернув голову, он не отрывал глаз от широкого прохода, где толпились мужчины и проститутки.

— Обрати внимание на первые ряды партера, — сказал Форестье, — одни добродушные, глупые лица мещан, которые вместе с женами и детьми приходят сюда поглазеть. В ложах — гуляки, кое-кто из художников, несколько второсортных кокоток, а сзади нас — самая забавная смесь, какую можно встретить в Париже. Кто эти мужчины? Приглядишься к ним. Кого-кого тут только нет — люди всякого чина и звания, но преобладает мелюзга. Вот служащие — банковские, министерские, по торговой части, — репортеры, сутенеры, офицеры в штатском, хлыщи во фраках — эти пообедали в кабачке, успели побывать в Опере и прямо отсюда отправятся к Итальянцам, — и целая тьма подозрительных личностей. А женщины все одного пошиба: ужинают в Американском кафе и сами извещают своих постоянных клиентов, когда они свободны. Красная цена им два луидора, но они подкарауливают иностранцев, чтобы содрать с них пять. Таскаются они сюда уже лет шесть, — их можно видеть каждый вечер, круглый год, на тех же самых местах, за исключением того времени, когда они находятся на излечении в Сен-Лазаре или в Лурсине.

Дюруа не слушал. Одна из таких женщин, прислонившись к их ложе, устала на него. Это была полная набеленная брюнетка с черными подведенными глазами, смотревшими из-под огромных нарисованных бровей. Пышная ее грудь натягивала черный шелк

платья; покрашенные губы, похожие на кровоточащую рану, придавали ей что-то звериное, жгучее, неестественное и вместе с тем возбуждавшее желание.

Кивком головы она подозвала проходившую мимо подругу, рыжеватую блондинку, такую же дебелую, как она, и умышленно громко, чтобы ее услышали в ложе, сказала:

— Гляди-ка, правда, красивый малый? Если он захочет меня за десять луидоров, я не откажусь.

Форестье повернулся лицом к Дюруа и, улыбаясь, хлопнул его по колену:

— Это она о тебе. Ты пользуешься успехом, мой милый. Поздравляю.

Бывший унтер-офицер покраснел; пальцы его невольно потянулись к жилетному карману, в котором лежали две золотые монеты.

Занавес опустился. Оркестр заиграл вальс.

— Не пройтись ли нам? — предложил Дюруа.

— Как хочешь.

Не успели они выйти, как их подхватила волна гуляющих. Их жали, толкали, давили, швыряли из стороны в сторону, а перед глазами у них мелькал целый рой шляп. Женщины ходили парами; скользя меж локтей, спин, грудей, они свободно двигались в толпе мужчин, — видно было, что здесь для них раздолье, что они в своей стихии, что в этом потоке самцов они чувствуют себя, как рыбы в воде.

Дюруа в полном восторге плыл по течению, жадно втягивая в себя воздух, отравленный никотином, насыщенный испарениями человеческих тел, пропитанный духами продажных женщин. Но Форестье потел, задыхался, кашлял.

— Пойдем в сад, — сказал он.

Повернув налево, он увидели нечто вроде зимнего сада, освежаемого двумя большими аляповатыми фонтанами. За цинковыми столиками, под тисами и туями в кадках, мужчины и женщины пили прохладительное.

— Еще по кружке? — предложил Форестье.

— С удовольствием.

Они сели и принялись рассматривать публику.

Время от времени к ним подходила какая-нибудь девица и, улыбаясь зауценной улыбкой, спрашивала: «Чем угостите, сударь?» Форестье отвечал: «Стаканом воды из фонтана», и, проворчав: «Свинья!», она удалялась.

Но вот появилась полная брюнетка, та самая, которая стояла, прислонившись к их ложе; вызывающе глядя по сторонам, она шла под руку с полной блондинкой. Это были бесспорно красивые женщины, как бы нарочно подобранные одна к другой.

При виде Дюруа она улыбнулась так, словно они уже успели взглядом сказать друг другу нечто интимное, понятное им одним. Взяв стул, она преспокойно уселась против него, усадила блондинку и звонким голосом крикнула:

— Гарсон, два гренадина!

— Однако ты не из робких! — с удивлением заметил Форестье.

— Твой приятель вскружил мне голову, — сказала она. — Честное слово, он душка. Боюсь, как бы мне из-за него не наделать глупостей!

Дюруа от смущения не нашелся что сказать. Он крутил свой пушистый ус и глупо ухмылялся. Гарсон принес воду с сиропом. Женщины выпили ее залпом и поднялись. Брюнетка, приветливо кивнув Дюруа, слегка ударила его веером по плечу.

— Спасибо, котик, — сказала она. — Жаль только, что из тебя слова не вытянешь.

И, покачивая бедрами, они пошли к выходу.

Форестье засмеялся.

— Знаешь, что я тебе скажу, друг мой? Ведь ты и правда имеешь успех у женщин. Надо этим пользоваться. С этим можно далеко пойти.

После некоторого молчания он, как бы размышляя вслух, задумчиво проговорил:

— Женщины-то чаще всего и выводят нас в люди.

Дюруа молча улыбался.

— Ты остаешься? — спросил Форестье. — А я уйду, с меня довольно.

— Да, я немного побуду. Еще рано, — пробормотал Дюруа.

Форестье встал.

— В таком случае прощай. До завтра. Не забыл? Улица Фонтэн, семнадцать, в половине восьмого.

— Хорошо. До завтра. Благодарю.

Они пожали друг другу руки, и журналист ушел.

Как только он скрылся из виду, Дюруа почувствовал себя свободнее. Еще раз с удовлетворением нащупав в кармане золотые монеты, он поднялся и стал пробираться в толпе, шаря по ней глазами.

Вскоре он увидел обеих женщин, блондинку и брюнетку, с видом нищих гордячек бродивших в толчее, среди мужчин.

Он направился к ним, но, подойдя вплотную, вдруг оробел.

— Ну что, развязался у тебя язык? — спросила брюнетка.

— Канальство! — пробормотал Дюруа; больше он ничего не мог выговорить.

Они стояли все трое на самой дороге, и вокруг них уже образовался водоворот.

— Пойдем ко мне? — неожиданно предложила брюнетка.

Трепеща от желания, он грубо ответил ей:

— Да, но у меня только один луидор.

На лице женщины мелькнула равнодушная улыбка.

— Ничего, — сказала она и, завладев им, как своей собственностью, взяла его под руку.

Идя с нею, Дюруа думал о том, что на остальные двадцать франков он, конечно, достанет себе фрак для завтрашнего обеда.

II

— Где живет господин Форестье?

— Четвертый этаж, налево.

В любезном тоне швейцара слышалось уважение к жильцу. Жорж Дюруа стал подниматься по лестнице.

Он был слегка смущен, взволнован, чувствовал какую-то неловкость. Фрак он надел первый раз в жизни, да и весь костюм в целом внушал ему опасения. Он находил изъяны во всем, начиная с ботинок, не лакированных, хотя довольно изящных, — Дюруа любил хорошую обувь, — и кончая сорочкой, купленной утром в Лувре за четыре с половиной франка вместе с манишкой, слишком тонкой и оттого успевшей смяться. Старые же его сорочки были до того изношены, что он не рискнул надеть даже самую крепкую.

Брюки, чересчур широкие, плохо обрисовывавшие ногу и собиравшиеся складками на икрах, имели тот потрепанный вид, какой сразу приобретает случайная, сшитая не по фигуре вещь. Только фрак сидел недурно — он был ему почти впору.

С замиранием сердца, в расстройстве чувств, больше всего на свете боясь показаться смешным, медленно поднимался он вверх по ступенькам, как вдруг прямо перед ним вырос элегантно одетый господин, смотревший на него в упор. Они оказались так близко

друг к другу, что Дюруа отпрянул — и замер на месте: это был он сам, его собственное отражение в трюмо, стоявшем на площадке второго этажа и создававшим иллюзию длинного коридора. Он задрожал от восторга — в таком выгодном свете неожиданно представился он самому себе.

Дома он пользовался зеркальцем для бритья, в котором нельзя было увидеть себя во весь рост; кое-как удалось ему рассмотреть лишь отдельные детали своего импровизированного туалета, и он преувеличивал его недостатки и приходил в отчаяние при мысли, что он смешон.

Но вот сейчас, нечаянно взглянув в трюмо, он даже не узнал себя, — он принял себя за кого-то другого, за светского человека, одетого, как ему показалось с первого взгляда, шикарно, безукоризненно.

Подвергнув себя подробному осмотру, он нашел, что у него в самом деле вполне приличный вид.

Тогда он принялся, точно актер, разучивающий роль, репетировать перед зеркалом. Он улыбался, протягивал руку, жестиковал, старался изобразить на своем лице то удивление, то удовольствие, то одобрение и найти такие оттенки улыбки и взгляда, по которым дамы сразу признали бы в нем галантного кавалера и которые убедили бы их, что он очарован и увлечен ими.

Внизу хлопнула дверь. Испугавшись, что его могут застать врасплох и что кто-нибудь из гостей его друга видел, как он кривлялся перед зеркалом, Дюруа стал быстро подниматься по лестнице.

На площадке третьего этажа тоже стояло зеркало, и Дюруа замедлил шаг, чтобы осмотреть себя на ходу. В самом деле, фигура у него стройная. Походка тоже не оставляет желать лучшего. И безграничная вера в себя мгновенно овладела его душой. Разумеется, с такой внешностью, с присущим ему упорством в достижении цели, смелостью и независимым складом ума он своего добьется. Ему хотелось взбежать, перепрыгивая через ступеньки, на верхнюю площадку лестницы. Остановившись перед третьим зеркалом, он привычным движением подкрутил усы, снял шляпу, пригладил волосы и, пробормотав то, что он всегда говорил в таких случаях: «Придуманно здорово», нажал кнопку звонка.

Дверь отворилась почти тотчас же, и при виде лакея в черном фраке и лакированных ботинках, бритого, важного, в высшей степени представительного, Дюруа вновь ощутил смутное, непонятное ему самому беспокойство: быть может, он невольно сравнил

свой костюм с костюмом лакея. Взяв у Дюруа пальто, которое тот, чтобы скрыть пятна, держал, перекинув на руку, лакей спросил:

— Как прикажете доложить?

Затем приподнял портьеру, отделявшую переднюю от гостиной, и отчетливо произнес его имя.

Дюруа мгновенно утратил весь свой апломб, он оцепенел, он едва дышал от волнения. Ему предстояло перешагнуть порог нового мира, о котором он мечтал, который манил его к себе издавна. Наконец он вошел. Посреди большой, ярко освещенной комнаты, изобилием всевозможных растений напоминавшей оранжерею, стояла молодая белокурая женщина.

Он остановился как вкопанный. Кто эта улыбающаяся дама? Но тут он вспомнил, что Форестье женат. И мысль о том, что эта хорошенькая, изящная блондинка — жена его друга, привела его в полное замешательство.

— Сударыня, я... — пробормотал он.

Она протянула ему руку.

— Я знаю, сударь. Шарль рассказал мне о вашей вчерашней встрече, и я очень рада, что ему пришла счастливая мысль пригласить вас пообедать сегодня с нами.

Он не нашелся, что ей ответить, и покраснел до ушей, он чувствовал, что его осматривают с ног до головы, прощупывают, оценивают, изучают.

Ему хотелось извиниться за свой туалет, как-нибудь объяснить его погрешности, но он ничего не мог придумать и так и не решился затронуть этот щекотливый предмет.

Он опустил в кресло, на которое ему указала хозяйка, и, как только под ним прогнулось мягкое и упругое сиденье, как только он сел поглубже, откинулся и ощутил ласковое прикосновение спинки и ручек, бережно заключающих его в свои бархатные объятия, ему показалось, что он вступил в новую, чудесную жизнь, что он уже завладел чем-то необыкновенно приятным, что он уже представляет собою нечто, что он спасен. И тогда он взглянул на г-жу Форестье, не спускавшую с него глаз.

На ней было бледно-голубое кашемировое платье, четко обрисовывавшее ее тонкую талию и высокую грудь. Голые руки и шея выступали из пены белых кружев, которыми был отделан корсаж и короткие рукава. Волосы, собранные в высокую прическу, чуть вились на затылке, образуя легкое, светлое, пушистое облачко.

Взгляд ее, чем-то напоминавший Дюруа взгляд женщины, встреченной им накануне в Фоли-Бержер, действовал на него ободряюще. У нее были серые глаза, серые с голубоватым оттенком, который придавал им особенное выражение, тонкий нос, полные губы и несколько пухлый подбородок, — неправильное и вместе с тем очаровательное лицо, лукавое и прелестное. Это было одно из тех женских лиц, каждая черта которого полна своеобразного обаяния и представляется значительной, малейшее изменение которого слово и говорит и скрывает что-то.

Выдержав короткую паузу, она спросила:

— Вы давно в Париже?

— Всего несколько месяцев, сударыня, — постепенно овладевая собой, заговорил он. — Я служу на железной дороге, но Форестье меня обнадежил: говорит, что с его помощью мне удастся стать журналистом.

Она улыбнулась на этот раз более радушной и широкой улыбкой и, понизив голос, сказала:

— Я знаю.

Снова раздался звонок. Лакей доложил:

— Госпожа де Марель.

Вошла маленькая смуглая женщина, из числа тех, о которых говорят: жгучая брюнетка.

Походка у нее была легкая. Темное, очень простое платье облегало и обрисовывало всю ее фигуру.

Невольно останавливала взгляд красная роза, приколотая к ее черным волосам: она одна оттеняла ее лицо, подчеркивала то, что в нем было оригинального, сообщала ему живость и яркость.

За нею шла девочка в коротком платье. Г-жа Форестье бросилась к ним навстречу:

— Здравствуй, Клотильда.

— Здравствуй, Мадлена.

Они поцеловались. Девочка с самоуверенностью взрослой подставляла для поцелуя лобик.

— Здравствуйте, кузина, — сказала она.

Поцеловав ее, г-жа Форестье начала знакомить гостей:

— Господин Жорж Дюруа, старый товарищ Шарля. Госпожа де Марель, моя подруга и дальняя родственница.

И, обращаясь к Дюруа, добавила:

— Знаете, у нас тут просто, без церемоний. Вы ничего не имеете против?

Молодой человек поклонился.

Дверь снова отворилась, и вошел какой-то толстяк, весь круглый, приземистый, под руку с красивой и статной дамой выше его ростом и значительно моложе, обращавшей на себя внимание изысканностью манер и горделивой осанкой. Это был г-н Вальтер, депутат, финансист, богач и делец, еврей-южанин, издатель «Французской жизни», и его жена, урожденная Базиль-Равало, дочь банкира.

Потом один за другим появились Жак Риваль, одетый весьма элегантно, и Норбер де Варен — у этого ворот фрака блестел, натертый длинными, до плеч, волосами, с которых сыпалась перхоть, а небрежно завязанный галстук был далеко не первой свежести. С кокетливостью бывшего красавца он подошел к г-же Форестье и поцеловал ей руку. Когда он нагнулся, его длинные космы струйками разбежались по ее голой руке.

Наконец вошел сам Форестье и извинился за опоздание. Его задержали в редакции в связи с выступлением Мореля. Морель, депутат-радикал, только что сделал запрос министерству по поводу требования кредитов на колонизацию Алжира.

— Кушать подано, — объявил слуга.

Все перешли в столовую.

Дюруа посадили между г-жой де Марель и ее дочкой. Он опять почувствовал себя неловко: он не умел обращаться с вилкой, ложкой, бокалами и боялся нарушить этикет. Перед ним поставили четыре бокала, причем один — голубоватого цвета. Интересно знать, что из него пьют?

За супом молчали, потом Норбер де Варен спросил:

— Вы читали о процессе Готье? Занятная история!

И тут все принялись обсуждать этот случай, где к адюльтеру примешался шантаж. Здесь говорили о нем не так, как в семейном кругу говорят о происшествиях, известных по газетам, но как врачи о болезни, как зеленщики об овощах. Никто не удивлялся, не выражал возмущения, — все с профессиональным любопытством и полнымравнодушием к самому преступлению отыскивали его глубокие, тайные причины. Пытались выяснить драму, а сама эта драма рассматривалась как прямое следствие особого душевного состояния, которому можно найти научное объяснение. Этим исследованием, этими поисками увлеклись и дамы. Точно так же, с точки зрения вестовщиков, торгующих человеческой комедией построчно, были изучены, истолкованы, осмотрены хозяйским гла-

зом со всех сторон, оценены по их действительной стоимости и другие текущие события, подобно тому как лавочники переворачивают, осматривают и взвешивают свой товар, прежде чем предложить его покупателям.

Потом зашла речь об одной дуэли, и тут Жак Риваль овладел всеобщим вниманием. Это была его область, никто другой не смел касаться этого предмета.

Дюруа не решался вставить слово. Прельщенный округлыми формами своей соседки, он время от времени поглядывал на нее. С кончика ее уха, точно капля воды, скользящая по коже, на золотой нитке свисал бриллиант. Каждое ее замечание вызывало у всех улыбку. Оно заключало в себе забавную, милую, всякий раз неожиданную шутку, шутку бедовой девчонки, ничего не принимающей близко к сердцу, судящей обо всем с поверхностным и добродушным скептицизмом.

Дюруа старался придумать для нее комплимент, но так и не придумал и занялся дочкой: наливал ей вина, передавал кушанья — словом, ухаживал за ней. Девочка, более строгая, чем мать, благодарила его небрежным кивком головы, важным тоном произносила: «Вы очень любезны, сударь» — и снова с комически серьезным видом принималась слушать, о чем говорят взрослые.

Обед удался на славу, и все выражали свое восхищение. Вальтер ел за десятерых и почти все время молчал; когда подносили новое блюдо, он смотрел на него из-под очков косым, прицеливающимся взглядом. Не отставал от Вальтера и Норбер де Варен, по временам ронявший капли соуса на манишку.

Форестье, улыбающийся и озабоченный, за всем наблюдал и многозначительно переглядывался с женой, словно это был его расторопный помощник, словно они сообща выполняли трудную, но успешно продвигающуюся работу.

Лица раскраснелись, голоса становились громче. Слуга то и дело шептал на ухо обедающим:

— Кортон? Шато-Лароз?

Дюруа пришелся по вкусу кортон, и он всякий раз подставлял свой бокал. Радостное, необыкновенно приятное возбуждение, горячей волной приливавшее от желудка к голове и растекавшееся по жилам, мало-помалу захватило его целиком. Для него наступило состояние полного блаженства, блаженства, поглощавшего все его мысли и чувства, блаженства души и тела.

Ему хотелось говорить, обратить на себя внимание, хотелось, чтобы его слушали, чтобы к нему относились так же, как к любому из этих людей, каждое слово которых подхватывалось здесь на лету.

Между тем общий разговор, который не прекращался ни на минуту, нанизывал одно суждение на другое и по самому ничтожному поводу перескакивал с предмета на предмет, наконец, перебрав все события дня и попутно коснувшись тысячи других вопросов, вернулся к широковещательному выступлению Мореля относительно колонизации Алжира.

Вальтер, отличавшийся игривостью ума и скептическим взглядом на вещи, в перерыве между двумя блюдами отпустил на этот счет несколько острых словечек. Форестье изложил содержание своей статьи, написанной для завтрашнего номера. Жак Риваль указал на необходимость учредить в колониях военную власть и предоставить каждому офицеру, прослужившему в колониальных войсках тридцать лет, земельный участок в Алжире.

— Таким путем вы создадите деятельное общество, — утверждал он. — Люди постепенно узнают и полюбят эту страну, выучатся говорить на ее языке и станут разбираться во всех запутанных местных делах, которые обычно ставят в тупик новичков.

Норбер де Варен прервал его:

— Да... они будут знать все, кроме земледелия. Они будут говорить по-арабски, но так и не научатся сажать свеклу и сеять хлеб. Они будут весьма сильны в искусстве фехтования и весьма слабы по части удобрения полей. Нет, надо широко открыть двери в эту новую страну всем желающим. Для людей с умом там всегда найдется место, остальные погибнут. Таков закон нашего общества.

Наступило молчание. Все улыбались.

— Чего там недостает, так это хорошей земли, — с удивлением прислушиваясь к звуку собственного голоса, будто слышал его впервые, вдруг заговорил Дюруа. — Плодородные участки стоят в Алжире столько же, сколько во Франции, и раскупают их парижские богачи, которые находят выгодным вкладывать в них капитал. Настоящих же колонистов, то есть бедняков, которых туда гонит нужда, оттесняют в пустыню, где нет воды и где ничего не растет.

Теперь все взоры были устремлены на него. Он чувствовал, что краснеет.

— Вы знаете Алжир? — спросил Вальтер.

СОДЕРЖАНИЕ

МИЛЫЙ ДРУГ. Роман. <i>Перевод Н. Любимова</i>	5
ЖИЗНЬ. Роман. <i>Перевод Н. Касаткиной</i>	299
НОВЕЛЛЫ	
Пышка. <i>Перевод М. Абкиной</i>	491
Заведение Телье. <i>Перевод М. Абкиной</i>	528
Буатель. <i>Перевод М. Абкиной</i>	554
Мадемуазель Перль. <i>Перевод Е. Любимовой</i>	561
Розали Прюдан. <i>Перевод А. Федорова</i>	577
Одиссея проститутки. <i>Перевод Н. Жарковой</i>	580
Поездка за город. <i>Перевод Г. Рачинского</i>	586
Папа Симона. <i>Перевод Г. Рачинского</i>	597
Подруга Поля. <i>Перевод Г. Рачинского</i>	605
Весною. <i>Перевод Г. Рачинского</i>	622
Сочельник. <i>Перевод А. Чеботаревской</i>	628
Мадемуазель Фифи. <i>Перевод А. Чеботаревской</i>	633
Кровать. <i>Перевод А. Чеботаревской</i>	644
Пробуждение. <i>Перевод А. Чеботаревской</i>	648
Хитрость. <i>Перевод А. Чеботаревской</i>	652
Слова любви. <i>Перевод А. Чеботаревской</i>	657
Парижское приключение. <i>Перевод А. Чеботаревской</i>	661
Ночь под Рождество. <i>Перевод А. Чеботаревской</i>	668
Заместитель. <i>Перевод А. Чеботаревской</i>	672
Ожерелье. <i>Перевод Н. Дарузес</i>	676
Счастье. <i>Перевод Е. Гунста</i>	683
Приданое. <i>Перевод Г. Рачинского</i>	689

СОДЕРЖАНИЕ

Средство Роже. <i>Перевод Г. Рачинского</i>	695
Исповедь. <i>Перевод Г. Рачинского</i>	698
Мальш. <i>Перевод Д. Лившиц</i>	705
 БРОДЯЧАЯ ЖИЗНЬ. <i>Перевод Г. Рачинского</i>	
Усталость	713
Ночь	717
Итальянское побережье	724
Сицилия	738
От Алжира до Туниса	775
Тунис	782
На пути в Кайруан	796